

Александр Солженицын

АВГУСТ
ЧЕТЫРНАДЦАТОГО

КРАСНОЕ КОЛЕСО

Роман-эпопея



УЗЕЛ I



Санкт-Петербург

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44
С 60

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Оформление обложки Валерия Гореликова

В издании сохранены орфография и пунктуация автора.
Его взгляды изложены в работе
«Некоторые грамматические соображения»
(Солженицын А. Публицистика: В 3 т. Ярославль, 1997. Т. 3).

ISBN 978-5-389-25416-9

© А. И. Солженицын (наследник), 2024
© Оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2024
Издательство Азбука®

УЗЕЛ I

АВГУСТ
ЧЕТЫРНАДЦАТОГО



10–21 АВГУСТА СТ. СТ.

Они выехали из станицы прозрачным зорным утром, когда при первом солнце весь Хребет, ярко белый и в синих углубинах, стоял доступно близкий, видный каждым своим изрезом, до того близкий, что человеку непривычному помнилось бы докатить к нему за два часа.

Высился он такой большой в мире малых людских вещей, такой нерукотворный в мире сделанных. За тысячи лет все люди, сколько жили, — доотказным раствором рук неси сюда и пухлыми грудями складывай всё сработанное ими или даже задуманное, — не поставили бы такого сверхмыслимого Хребта.

От станицы до станции так вела их всё время дорога, что Хребет был прямо перед ними, к нему они ехали, его они видели: снеговые пространства, оголённые скальные выступы да тени угадываемых ущелий. Но от получаса к получасу стал он снизу подтаивать, отделился от земли, уже не стоял, а висел в треть неба и запеленился, не стало в нём рубцов и рёбер, горных признаков, а казался огромными слитными белыми облаками. Потом и облаками уже разорванными на части, уже не отличимыми от истых облаков. Потом и их размыло. Хребет вовсе изник, будто был небесным видением, и впереди, как и со всех сторон, осталось небо сероватое, белесое, набирающее зноя. Так, не меняя направления, они ехали больше пятидесяти вёрст, до полудня и за полдень, — но великанских гор перед ними как не бывало, а подступили близкие округлые горки: Верблюд; Бык; плешивая Змейка; кудрявая Железная.

Они выехали ещё не пыльной дорогой, ещё росной прохладной степью. Они проехали те часы, когда степь звенела, вспархивала, щебетала, потом посвистывала, потрескивала, пошуршивала, — а вот уж к Минеральным Водам, волоча за собой ленивый пыльный взмёт, подъезжали в самый мёртвый послеполуденный час, и отчётливый звук был только — мерное постукивание их таратайки, дерево об дерево, а копытами в пыль становились лошади почти неслышно. И все тонкие запахи трав за эти часы были и перешли, а теперь настоялся один знойный солнечный запах с подмесью пыли, и так же пахла их

таратайка, и сенная подстилка, и сами они — но, степенякам от первой детской памяти, этот запах был им приятен, а зной — не утомителен.

Отец пожалел дать им рессорную бричку, берёт, оттого на рыси их трясло и колотило, и большую часть дороги они проехали шагом. Ехали они меж хлебов и между стад, миновали и солончаковые проплешины, перекаtywали пологие холмы, пересекали отлогие балки, с близкой водой и сухие, ни одной настоящей реки, ни одной большой станицы, мало кого встречая, мало кем обогнанные по воскресному малолюдью, — но Исаакию, и всегда терпеливому, особенно сегодня, по настроению и замыслу его, совсем не тягостны были эти восемь часов, а мог бы он и шестнадцать проехать так: из-под дырявой соломенной шляпы — посверх лошадиных ушей, да придерживая возжи ненужные.

Евстрашка, младший, от мачехи, братишка, — эту всю дорогу ему сегодня же ворочаться в ночь, — сперва спал на сене за спиной Исаакия, потом вертелся, на ноги поднимался, разглядывая в траве, соскакивал, отбегал, догонял, полно было ему дел, ещё и рассказывал или спрашивал: «А почему, если закроешь глаза, кажется — назад едешь?»

Сейчас перешёл Евстрат во второй класс пятигорской гимназии, но сперва, как и Исаакия, его соглашался отец отпустить только в ближнюю прогимназию: остальные ведь, старшие братья и сестры, не знали не видели ничего, кроме земли да скота да овец, и жили же. Исаакий был пущен учиться на год позже, чем надо, и после гимназии год передержал его отец, не давая себе сразу втолковать, что теперь какой-то нужен университет. Но как быки сдвигают тяжесть не урывом, а налогом, так Исаакий брал с отцом: терпеливым настоянием, никогда сразу.

Исаакий любил свою родную Саблю, и хутор их в десяти верстах, и сельскую работу, и теперь, в каникулы, нисколько не отлынивал ни от косьбы, ни от молотьбы. В понимании своего будущего он как-то рассчитывал соединить свою первородную жизнь и набранное в студенчестве. Но, что ни год, выходило напротив: учение безповоротно отделяло его от прошлого, от станичников и от семьи.

Во всей станице двое их было, студентов. Удивленьё и смех вызывали среди станичников их рассуждения, их вид, — и едва приехав, спешили они переодеться в своё старое. Впрочем, одно было приятно Исаакию: станичная молва почему-то отделила его от другого студента и назвала — с издёвкой же — *народником*. Кто это первый прилепил и как это выложилось, а все дружно стали кликать его «народником». Народников давно уже в России не было, но Исаакий, хоть никогда б не осмелился так представиться вслух, а понимал себя,

пожалуй, именно народником: тем, кто учёные свои получил для народа и идёт к народу с книгою, словом и любовью.

Однако даже в родную семью возврат был почти невозможен. Три года назад уступивши непонятному университету, отец уже не менял решения, не брал назад, но испытывал как свою ошибку, как потерю сына. Только и видел он в нём прок на каникулах — взять Саньку на сельские работы, а в остальные отлучные месяцы развидеть смысла учёности не мог.

Да с отцом осталось бы у них сродно, когда б не мачеха Марфа — бойкая, властная, жадная, стягивала дом под свою руку, свобода простор для детей своих. Старшие братья и сестры Исаакия уже отделились, по мачехе чужел и отец, и дом родной. Приглядысь, позадумывался Саня ещё и пареньком: как же тяга эта ведёт человека всего, и долго, если, за сорок овдовевши, отец привёл вторую жену двадцатилетнюю, а этакой бабе молодой проворной, сам теперь о-шестьдесят, уставу твёрдого положить не мог и не многое сам решал.

Да и воззрения новоприобретаемые отдаляли Исаакия. В детстве знал он немудро, непонятно посты и праздники, босиком ко всеобщей, — а потом от становой народной веры кто только его не отклонял. И Саблинская сама, и вся округа их была просеяна сектами — молоканами, духоборами, штундистами, свидетелями Иеговы, из секты была и мачеха, стал насчёт церкви теряться и отец, споры о верах были излюбленные в их местности в досуг, Саня много ходил прислушивался, пока воззрения графа Толстого не отодвинули ему эти все разноверия. Сумятица умов была и в городах, образованные друг друга тоже не все понимали, а учение Толстого так убедительно укладывало в мире всё, требуя одной лишь правды. Увы, и толстовская правда в отношениях с семьёй привела Саню, наоборот, ко лжи: так, став вегетарианцем, нельзя было объяснить, что делает это по совести, — позор и смех поднялся бы и по семье и среди станичных; пришлось начинать со лжи, что не есть мясного — это медицинское открытие одного немца, обеспечивает долгую жизнь. (А на самом деле, накидавшись снопами, тело до дрожи требовало мяса, и ещё самого себя надо было обманывать, что довольно картошки и фасоли.)

Отчуждение от семьи облегчило Исаакию и нынешнее решение, с чем уезжал он теперь, — но и тут открыться не мог, пришлось и тут солгать, что требуется ему ехать в университет на практику прежде времени, и саму эту *практику* придумывать и втолковывать простодушному отцу.

Три недели войны отозвались до сих пор в их станице лишь двумя царскими манифестами, на Германию и на Австрию, прочтёнными

в церкви и вывешенными на церковной площади, да двумя отъездами запасных, да ещё отдельным отгоном коней в уезд, потому что числилась теперь станица Саблинская не казаками терскими, а кацапами. Во всём же другом как не было войны: не попадали в их станицу газеты, и письмам из Действующей армии было рано, — да ещё понятия такого не было «письма», до сих пор «получать письма» в их станице было нескромностью, выделением, Саня старался не получать. Из семьи Лаженицыных не взяли никого: старший брат был уже в годах, уже сын его служил на действительной, у среднего брата не хватало пальцев, Исаакий — студент, а мачехины дети ещё малы.

И в сегодняшней полудневной езде по обширной степи тоже не послан был им никакой знак войны.

Переехав по мосту Куму, перевалив каменистым переездом через зноистое двухпутное полотно и уже едучи по травяной улице станицы Кумской, теперь Минеральных Вод, — и тут нигде не заметили они признаков войны. Так не хотелось жизни переворачиваться! Где только могла, она текла и таилась по-прежнему.

В тени большого вяза у колодца они остановились: Евстрашка должен был здесь обгодить, остудить и напоить коней, потом подъехать к станции. Саня обмылся, обхлюпался до пояса, два ведра извёл, ледяную на спину поливал ему Евстрашка тёмной жестяной кружкой, — тогда протёрся хорошенько, надел чистую белую рубашу с пояском, вещи покинул в таратайке и налегке, сторонясь от пыли, пошёл к станции.

Пристанционная площадь недавно была украшена посадкой сквера, но так и рылись куры по её окраинам да к длинному зданию станции подъезжавшие шарабаны и телеги взнимали воздушный наслой пыли.

Зато минераловодский перрон, во всю длину покрытый лёгким навесом на тонких крашенных столбиках, провеваемый, прохладный, манил за собою курортами и сегодня, как всегда. У столбиков навеса вился дикий виноград, всё было привычно-дачное, весёлое, никакой войны и здесь как будто не знал никто. Дамы в светлых платьях, мужчины в чесучевом шли за носильщиками к платформе кисловодских поездов. Продавалось мороженое, нарзан, цветные летучие шары

— и газеты. Саня купил одну, подумал — и вторую, разворачивал их уже на ходу, а потом на лавочке у дачного перрона. Вопреки обычной степенности он не дочитывал сообщений, перескакивал по столбцам — и просветлялся. Хорошо, хорошо. Наша крупная победа под Гумбиненом! Противник будет вынужден очистить всю Пруссию... И в Австрии хорошо дела... И у сербов победа!..

По хуторской привычке бережа всякую вещь, вот и бумагу, он сложил газеты не замяная, не рвя, как если б думал нужны будут вечно, встал и пошёл в кассу, узнавать о поездах. Он ровно шёл сквозь пассажирскую сутолоку, не разглядывая людей, — и вдруг из этой пересечки вырвалась девушка, он и не обернулся, как летела она, может быть на поезд, — а она к нему! он тогда и понял, когда обвила его за шею руками, притянулась, поцеловала — а вот уже и откинулась, своей смелости удивляясь, раскраснелая, радостная:

— Саня!! Вы?? Ка-кое совпадение! А я всю дорогу из Петербурга почему-то...

Всего-то полсекунды обнимала, а всё настроение и мысли спшибла, сметнула, и он стоял растерянный, с тем летучим, что возникло в этот налётный миг, и ещё оставалось на нём, не только от губ, солнечно нагретых.

Варя. Старая знакомая гимназических лет, после Пятигорска и не виделись, сперва ещё писали иногда. Раньше — заглаженная узкая головка сироты, а теперь волосы стрижены, пышно набиты вширь, и какой-то взгляд победно-возбуждённый:

— Я почему-то так и думала: а вдруг — вас встречу? Понимала, что невозможно, а... Даже мысль была — дать вам телеграмму в станицу, только знала, что вы не любите.

Саня стоял, улыбаясь. Он сбит был — и как она изменилась от шестиклассницы, и неожиданностью, и какая, при чём тут телеграмма (разорвалась бы в доме как бомба), и ощущением нагретости её.

— А я вот четвертые сутки всё еду! — радовалась она. — Умирает мой опекун, и надо поклониться. Не самое удобное время ехать, поезда полные... А вы?.. Тоже едете?.. Или встречаете кого?

Такая дурашливая мысль, пошутить: вас. И этот налёт её, и безо всяких усилий... Пошутить: а я по сну приехал, вы мне приснились; сразу: да не может быть? Она так и стояла, как будто всё ещё разогнанная, в наклон к нему.

Варя не бывала красива, и не похорошела за эти годы, оставался тот же твердоватый по-мужски подбородок и удлиненный нос, но вспыхнуло радостное напряжение встречи, от чего она опалена и просто хороша:

— А помните?.. А помните?.. Как мы с вами на бульваре тоже вот так встречались — неожиданно, без уговора? Судьба?.. Слушайте, Саня, куда вы сейчас? Ну, найдите время! Давайте побудем вместе. Давайте, я побуду в Минеральных?.. А хотите — поедим в Пятигорск?.. Как вы решите, так и будет, а?.. — Внезапные фразы бросала

она, с неожиданным значением и выражением, как налетела и как стояла, не вполне ровно.

Заклубило, заклубило, замутило всё то высокое чистое настроение, с которым Саня сегодня прозрачным утром выехал и насматривался на снежно-синий скалистый Хребет. Как Хребет расплылся, так вдруг и всё дорогое настроение его. Вечное борение с искусствами, вся наша жизнь: мяса есть нельзя — а хочется, злого делать нельзя, доброе трудно... А в Минеральных Водах только пройдишь, тут увидят свои станичные, дома расскажут... А ехать в Пятигорск — и вовсе уклонение, вздор. Гостиницы, рестораны?.. Все копейки рассчитаны на билет.

Жалко было своё сегодняшнее особенное утро. Но, с удивлением к себе: уже и жалко было бы не встретить Варю. Так Саня ощущал, что, пожалуй, способен вдруг и поехать с ней.

А она сияла, остролицая, видя его уже согласным, но по разгону повторяла с резковатыми призывками:

— А — куда вы? Куда? Зачем?

И так сама напомнила. Навела.

Отвела.

Улыбаясь рассеянно и чтоб её не обидеть:

— Я... В Москву. — Он смотрел в сторону, вниз, как виноватый. — Сперва в Ростов заеду, там друг у меня, Константин, может быть знаете?

— Но ведь до занятий ещё три недели! — Рукой, до локтя открытой, взяла у локтя его, крепко, требовательно. — Или, думаете, вас... ? — затревожилась, потянула сильнее, — с четвёртого курса? Ни за что! Зачем же вы едете?

Вот так просто ответить на ходу — было разменно, недостойно. Саня улыбался смущённо:

— Да понимаете... Н-не сидится... на хуторе...

Она вздрогнула откинутой головой, как лошадь, увидевшая круто вниз, и напряглась, уже за обе руки спасая его:

— Да вы... не... ли... до-бро-вольно?..

Правда, они встречались раньше, даже не уговариваясь. Со скрытой надеждой ученица городского училища выходила к вечеру на главный бульвар Пятигорска, и вот ей навстречу шёл уже знакомый, на три года старше, гимназист.

А встретясь, они рассуждали. Их встречи были серьёзные, умные разговоры, для Вари очень важные: Варя никогда никого не помнила старшего близкого. Даже когда темнело, наставницы и наставники

увидеть их не могли, и Сане вполне было уместно взять Варю под руку, — он не брал. И она особенно уважала его за такую серьёзность. (Хотя, пусть бы меньше уважала.)

Позже, переведясь в гимназию, она стала встречать Саню и на учебных балах и других собраниях, но и там больше рассуждали, а не танцевали никогда. Саня говорил, что объятия вальса создают желания, ещё не подготовленные истинным развитием чувства, и граф Толстой полагает в этом дурное. Подчиняясь его мягким разъяснениям, уверилась и Варя, что танцевать не хочет.

И ещё потом сохранялась между ними переписка, очень разумные письма писал он. Хотя в Петербурге на курсах далеко расширился варин кругозор, и много умных людей знала она теперь, но и Саню вспоминала.

А когда три недели назад у себя на Васильевском Варя прочла наклеенный на тумбе царский манифест, потом трамваем переехала через Неву, а там, на Исаакиевской площади, патриоты громили германское посольство, били стёкла, выбрасывали в окна мебель, мрамор и проткнутые картины, свалили с кровли на тротуар огромных бронзовых коней, ведомых гигантами, и все люди вокруг возбуждённо радовались, будто пришла не война, но их долгожданное счастье, — в тот смутный миг, подле черно-коричневых колонн Исаакия, защемило у Вари: повидать бы теперь Саню. Да проезжая мимо Исаакиевского собора она и всегда его вспоминала: не любя своего имени, Саня отшучивался, что Пётр Великий ему тёзка: тоже на Исаакия родился, отчего и собор, только императору облагодзвучили имя, а степному мальчику нет.

Не предполагала Варя, внезапно вызвали её в Пятигорск: тяжело заболел её опекун, не опекун, — жертвователю, на деньги которого она и многие другие сироты учились, и сочтено было, что она должна его навестить, хотя он и не помнил всех, на кого жертвовал, и не мог приезд какой-то незнакомой курсистки с остывшими благодарностями подбодрить его. И вот, через всю ширину Империи, томясь четыре дня в поездах, Варя почему-то придумывала и вызывала: «Саня, встреться! Саня, встреться!» — как когда-то, проходя всю длину пятигорского бульвара.

Не обязательно именно Саню, сколько мужских характеров этот Толстой перепортил. А просто ехала Варя от Исаакия — через Москву, через Харьков, через Минеральные Воды, всё санины места. Гринула война — ей стало одиноко, упущенно. Не была и прежде полна её жизнь, но ощущалась полнота общего озера. А теперь как будто разверзся донный провал, и туда с кручением и гулом стала навсегда

уходить вода озера — и пока не всё пересохло, надо было спешить, спешить!

А ещё: разобраться, как это сразу всё закособочилось, куда поползло? Всего месяц назад, три недели назад, кажется никакой мыслящий русский гражданин не сомневался, что глава России — презренная личность, недостойная даже серьёзного упоминания, немислимо было без насмешки повторить его слова. И вдруг в день-два всё изменилось. По виду образованные и неглупые люди, никем не понуждаемые, собирались, строгие, около тумб — и с этих тупых цилиндрических тумбленных туш им выглядело длинное титулование монарха совсем не смешным, и никем же не понуждаемые чтецы громко читали ясными голосами:

«Встаёт перед врагом вызванная на брань Россия, встаёт на ратный подвиг с железом в руках, с крестом на сердце... Видит Господь, что не ради воинственных замыслов или суетной мирской славы подняли мы оружие, но ограждая достоинство и безопасность Богом хранимой нашей Империи, боремся за правое дело...»

Всею долгой дорогой наблюдала Варя сопутствия войны: военные погрузки, проводы. Особенно на полустанках лихо выглядело русское прощание: под балабайку выплясывали запасные на утолченных площадках, взметая пыль, и что-то развязно кричали, видно пьяные, а родные крестили их, плакали по ним. Когда ж мимо товарного поезда запасных проносился другой такой же поезд — взлетало братское «ура-а-а!» из двух поездов и растягивалось, безумное, отчаянное, бессмысленное, на длину двух составов.

И никто не демонстрировал против царя.

А Саня в белой чистой рубашке был особенно степной, загорелый, прямятые волнистые пшеничные волосы, пропалённые солнцем на крестьянской работе. Едва увидела — и кинулась к нему, на свою загадку-угадку, но и — сбить одним движением эту прежнюю тягучую робость их встреч. Так поверилось, что сейчас они всё своё бросят — и куда-то, куда-то...

Саня был простак уже и до сложности.

Меж коротко подстриженными русыми усами и диковатой порослью ещё-не-бородки улыбался мягко, раздумчиво. И в глазах, как всегда, непрерывная внутренняя работа. А уже — и заглатывающее заострение — общее — увидела на нём. *Уходил?* — добровольно?..

— Саня! Не идите! — за плечи его. — Не уходите!

Тем же водоворотом, в тот же донный провал закручивало и его... От него же занятую когда-то рассудочную ясность она теперь поры-

валась ему вернуть, из водоворота выхватить его назад, как успеет. Она не готовилась, само натекало на язык... Десятилетия гражданской литературы, идеалы интеллигенции, народолюбие студенчества — и всё отдать зашлёпать в один миг? Забыть этого... Лаврова, Михайловского?... Хор-рошенское дело! — так поддаться тёмному патристическому чувству! изменить всем принципам! Ладно, он не был революционером, но пацифистом-то был всегда!

Со стороны показалось бы, что это она воинственно настроена, а он мягко отговаривает её от войны. Варя разгорячилась, и улыбка её стала резкой. Приподнялась и в отчаянии сбилась её шляпка — дешёвая и беззатейная, не для привлекательности выбранная, а защищать от солнца только.

Не находясь возражать, не защищаясь, Саня кивал. Грустно:

— Россию... жалко...

Урчала, гудела, уходила вода из озера!

— Кого? — Россию? — ужалилась Варя. — Кого Россию? Дурака императора? Лабазников-черносотенцев? Попов долгорясых?

Саня не отвечал, ему нечего было. Слушал. Но под хлестом упреков нисколько не ожесточался. Он на каждом собеседнике себя проверял, всегда так.

— Да разве у вас характер — для войны? — подхватывала Варя всё, что только можно было, что под рукой.

В первый раз она чувствовала себя умней его, зрелей его, критичней, — но от этого только холод утраты сжимал её.

— А Толстой! — нашла она ещё, последнее. — Что сказал бы Лев Толстой — вы подумали? Где же ваши принципы? Где же ваша последовательность?

На загорелом санином лице под пшеничными бровями, над пшеничными усами голубели ясные, печальные, в себе не уверенные глаза.

Плечи чуть подняв, чуть опустив:

— Россию жалко...

ДОКУМЕНТЫ — 1

23 июля

ПОСОЛ ФРАНЦИИ ПАЛЕОЛОГ — ИМПЕРАТОРУ НИКОЛАЮ II

...Французская армия должна будет вынести ужасный удар 25 немецких корпусов. Умоляю Ваше Величество отдать приказ своим войскам немедленно начать наступление. В противном случае французская армия рискует быть раздавленной.

31 июля

Запись маршала Жоффра

...Предвосхищая все наши ожидания, Россия начала борьбу одновременно с нами. За этот акт лояльного сотрудничества, которое особенно достойно, поскольку русские ещё далеко не закончили сосредоточение своих сил, армия Царя и великий князь Николай заслужили признательность Франции.

1 августа

НИКОЛАЙ II — МИНИСТРУ САЗОНОВУ

...Я приказал великому князю Николаю Николаевичу возможно скорее и во что бы то ни стало открыть путь на Берлин. Мы должны добиваться уничтожения германской армии.

2

Это не ново было для Сани, что он запутывался в противоречиях, что его взгляды не сходятся с чувствами. Но если в противодействии мясу или танцам можно было всякий раз и от месяца к месяцу упражнять свою выдержку, то войны никто никогда и не предлагал, не хвалил, не манил ею, она казалась вовсе исключена в цивилизованный развитой век, — так некогда было к ней и подготовиться. Было усвоенное представление: война — грех. Без единой проверки легко было так считать. Но вот разразилась первая — и в раздольной безтревожной степи, под небом безтучным — засосало. И беззащитно почувствовал Саня, что эту войну ему не отвергнуть, не только придётся идти на неё, но подло было бы её пропустить — и даже надо поспешить добровольно. В станице не оспаривали и не обмысливали войну как событие, которое будто бы в наших руках, могло бы быть или не быть допущено. Войну и вызовы воинского начальника там все принимали как волю Бога, как снежный буран, как пыльную бурю. Но и добровольного ухода тоже взять в толк не могли бы. И в сегодняшней долгой дороге, поколачиваемый таратайкой ижигаемым солнцем, Саня решил ещё неясно, неокончательно. Ещё предстояло ему в Ростове совещаться с другом своим, Котей. Измена Толстому была уж и совсем определённая. Но услышав Варю и приняв на себя взмёт

возможных демократических и революционных аргументов, Саня не обнаружил среди них решающего: через тёмную бездну, зинувшую перед Россией, не бросали они никакого моста.

И он расстался с Варей более убеждённый идти добровольцем, чем до неё.

Другое: с Варей самой. Он ведь еле удержался. Она так звала, и так томительно ему, — поехал бы! По-крестьянски: ломай солому пока трещит, а девку пока верещит. Но уже в боях умирали люди. Нечестно. Поехал бы — и смял бы, сбил всё настроенье своё и, может, даже, в станицу бы вернулся.

Это всё он перебирал полночи уже в бакинском почтовом, на боковой верхней полке, только-только помещаясь в длину от макушки до подошв. Из Минеральных выехали вечером, от военного времени было переполнение: в третьем классе редкая полка пустовала.

Расстался с ней — тут и потянуло: ах, зря! Хоть вдогонку езжай. Теперь-то именно, идя на войну, как же было пренебречь?

Так заныло, лучше б не встречал. Так заныло, хоть в Харьков заезжай, к черноволосой Леночке с гитарой и романсами. А какая ж разница — Пятигорск или Харьков? Если б он поехал с ней — ничего б не стоило и всё его решение, и движенье.

Хотелось, мечталось Сане дожить — полюбить по-настоящему. Душой полюбить. И на всю жизнь.

Но теперь пока расстилалась — война.

В вагоне было душно, у Сани правая сторона по ходу, и имел он право оттянуть свою раму вниз, так открыл себе продох, а решётку складную опустил, чтоб не вывалиться. На частых остановках ходили по вагону, цепляли за простеленную санину студенческую тужурку, разговаривали за окном на платформе, — Саня просыпался, и сразу подступало всё то же ощущение беды, не собственной своей, но от этого не меньшей. Поглядывая на стеариновую свечу в стеклянном простенке, освещающую четыре купе сразу, Саня по отгару её соображал, сколько времени прошло. На ходу пламя свечи подрагивало, и колебались густые тени под полками.

А то слышал он название станции или высматривал её через щель решётки: он каждую тут станцию знал в лицо и мог наизусть их перечислять с полустанками от Прохладной до Ростова и наоборот.

Он любил эти все станции, и весь край здесь был его родной, в Нагутской жила одна замужняя сестра, в Курсавке другая. Но за последние годы его привязанность раздвоилась, с тех пор как Саня узнал и коренную, лесную, настоящую Россию — ту, что начинается только от Воронежа.

Из-под Воронежа откуда-то и вышли Лаженицыны. И в свой холостой год между гимназией и университетом Саня выпросился у отца съездить посмотреть места их предков (а на самом деле ещё и ко Льву Толстому метил попасть).

Дед Ефим, когда жив был, рассказывал, что на его пращурца Филиппа напустился царь Пётр — как смел поселиться инде без спросу, и выселил, и слободу их Бобровскую сжёг, так осерчал. А дедова отца сослали из Воронежской губернии сюда за бунт, несколько их было, тех мужиков, однако тут кандалов не надели, и не в солдатское поселение, и не под крепость, а распустили по дикой закумской степи, при казачьей Старой линии, и так они жили тут, никто никому, не жались по безземелью, на полоски степь не делили, где пахали-сеяли, а где гоняли на тачанках да стригли овец. Окоренились.

Через просветы между планками решётки всё было черно за вагоном. Но потом стало осветляться небо, и ещё светлеть, вот уже пересиливало свечу, и проводник пришёл погасить её. Белое небо взялось розовым, Саня покинул попытки спать, поднял решётку к потолку, избочась надел тужурку и в обдуве холодного встречного воздуха стал ждать восхода. Розовое распахивалось просторным шатром, особенно ярко находя по небу и выхватывая мелкие облачка, а в исходе своём всё накалялось — алым, багряным, и уже неудержимое выперло, расплавилось красным солнцем. И так, у мира всего на виду, всю красную щедрую мощь погнало, полило багрецом по степной шире, не жалея нисколько, до крайней западной дали не обойдя ни местечка.

В той России — много красот умеренных, разделённых, обставленных лесами и взгорками, а вот таких разгарчивых, разливистых восходов на всю вселенную — не бывает.

Тоже вот таким ранним погожим утром, когда солнце едва взошло, ещё до шести утра, и тоже из первых дней августа, пять лет назад, Саня вышел со станции Козлова Засака — идти к Толстому. Было сочнее и свежей, чем может быть на Кубани летом. Спрося на станции, Саня спустился в овражек, поднялся по косогору и попал в такой лес — просторный, ядрёный, широкоствольный, парадный, парковый, какого, живя на юге, не мог бы вообразить, да и на картинках никогда не видел. В росе молочной, а потом радужной, лес этот звал не пройти себя, а бродить, сидеть, лежать, остаться тут, никогда из него не выбраться, — а ещё особенным казался оттого, что дух пророка носился здесь: ведь Толстой же ходил или ездил на станцию, он здесь не мог не бывать, этот лес был уже началом его поместья!

Но нет, лес поднялся к орловскому большаку — и оборвался. Саня понял свою ошибку: только переваля через большак, он спустил-

ся к яснополянскому парку. И пошёл вдоль него. Парк отделялся от дороги канавкою и тесной зарослью. Дальше, за огибом, виднелись белые каменные входные столбы.

Тут Саню взяла робость. Он не нашёл сил идти через парадные ворота, по парадной аллее, отвечать на вопросы встречающих. Да его могли и не пустить к Великому, скорее всего. И легче оказалось перепрыгнуть через канавку, продраться сквозь заросль — и просто, без цели, походить тем парком, где, уж без ошибки, хаживает Толстой, и присесть, где сиживает он.

Тут были петлистые аллейки, небольшой прудок, ещё один, и мостики через застоялую воду, покрытую ряской, и беседка. А дома и людей — не было видно. И в раннем солнечном переблеске, в мелкой солнечной пестряди бродя, бродя, садясь и глядя, Саня, кажется, и насытился. Он, кажется, уже мог возвращаться на юг и считать, что побывал у Толстого.

Но ещё поднялся по берёзовой аллее — длинной, прямой и узкой, как коридор. Берёзы сменились клёнами, потом липами. Тут открылась не поляна, но разрежение парка, окружённое липовым прямоугольником, ещё разбитое вдоль, поперёк и диагонально дорожками. И — кто-то мелькал по этим аллеям, шёл довольно бодро. Саня спрятался за толстую липу, выглядывал. И увидел — Седоволосого, Седобородого! в длинной рубаше с пояском. Ниже ростом, чем ожидал, но так похожего на свои изображения, что хотелось головой тряхнуть, от миража.

Толстой шёл с палкой, смотрел в землю. Один раз упнулся палкой, остановился и едва ли не минуту неподвижно смотрел в одно и то же место, в землю. Опять пошёл. Он попадал головой то в густую утреннюю тень, то под солнечный свет — и тогда голова его, в объёме парусинового картуза, вспыхивала как нимбом. Так он прошёл все четыре стороны прямоугольника и опять повторял их, на одном углу совсем рядом с Саней.

Саня упивался. Он мог бы и час вот так простоять, налегши грудью на липу, обнимая пальцами её дорожчатую кору, а голову выставив из-за ствола. И он не хотел помешать утреннему размышлению Пророка. Но испугался: а вдруг Толстой следующий раз уже не завернёт сюда, уйдёт к дому; или кто-нибудь появится и заговорит с ним.

И с колотящейся смелостью Саня вышагнул на дорожку — издали, чтобы Толстой не испугался внезапности, снял гимназическую фуражку (он тот год носил её, пока отец не отпустил в студенты) — и стоял прямо, немо.

Толстой увидел. Подходя ближе, поглядел на опущенную фуражку, на вольную косоворотку. Приостановился. Заботы и заботы были на его лице, лоб не расправлен. Но и ему же досталось первому поздороваться с немым обожателем:

— Здравствуйте, гимназист.

Кто же к кому пришёл? Кто кого искал? Как будто самого Саваофа слыша, спекшимся горлом Саня слабо ответил:

— Здравствуйте, Лев Николаевич!

И не находился, дальше что. Сам Толстой должен был отвлечься от своего, сосредоточиться на новом. Перевидел он, конечно, этих посетителей, и этих гимназистов, заранее знал, что они могут спросить и что им нужно ответить, всё это они могли прочесть в его книгах, но почему-то хотели не прочесть, а непременно слышать из уст.

— Откуда же вы, гимназист? — вежливо спрашивал великий старик, не проходя дальше.

— Из Ставропольской губернии, Александровского уезда, — теперь уже слышным, но хриплым голосом сказал Саня. И очнулся, прокашлялся, поспешил: — Лев Николаевич! Я знаю: я нарушаю ваши мысли, вашу прогулку, простите! Но я так долго ехал, мне только услышать от вас несколько слов. Скажите, вот правильно я понимаю? — какая жизненная цель человека на земле?

Но — не сказал, как же он понимает, а ждал. Губы Толстого, не вовсе утонувшие в бороде, безусильно сдвинулись в произнесенное тысячу раз:

— Служить добру. И через это создавать Царство Божие на земле.

— Так, я понимаю! — волновался Саня. — Но скажите — служить чем? Любовью? Непременно — любовью?

— Конечно. Только любовью.

— Только? — Вот за этим Саня и ехал. Теперь свободней ему стало, и говорил он плавней, ближе к своей негорячей манере. Он задавал по виду вопрос, но в этом вопросе уже свой собственный ответ отчасти содержался, и, по свойству юности, он хотел даже великому собеседнику выявить таким образом своё не совсем пустое мнение: — Лев Николаевич, а вы уверены, что вы не преувеличиваете силу любви, заложенную в человеке? Или, во всяком случае, оставшуюся в современном человеке? А что, если любовь не так сильна, не так обязательна во всех, и не возьмёт верха — ведь тогда ваше учение окажется... без... — не мог договорить. — ...Очень-очень преждевременным? А не надо ли было бы предусмотреть какую-то промежуточную ступень, с каким-то меньшим требованием — и сперва на нём

пробудить людей ко всеобщему благожелательству? А потом уже — на любви?.. — И пока Толстой не ответил, в этот последний миг: — Потому что, как я наблюдаю, вот на нашем юге, — всеобщего взаимного доброжелательства нет, Лев Николаич, нет!

Ещё свои заботы не ушли с борождённого стариковского лба, а тут гимназист задавал малооблегчающий вопрос. Из-под бровей мохнатых твердо посмотрев, безколебно ответил старец, всей жизнью выношенное:

— Только любовью! Только. Никто не придумает ничего верней.

И — кажется, не хотел больше говорить. Как будто затмился или обиделся за свою истину. Он хотел дальше идти по прямоугольнику и думать своё.

Болезнью, что огорчил обожаемого человека, отдавая уже свой любимый вопрос, умягчая, но и ещё одну кроху выгадывая, Саня опять заторопился:

— Что до меня — я так и хочу, через любовь! Я так — и буду. Я так и постараюсь жить — для добра. Но вот ещё, Лев Николаич! Само-то добро! Как его понять? Вы пишете, что разумное и нравственное всегда совпадают...

Приостановился пророк, мол — да. И остриём палки чуть посверливал в твёрдой земле.

— Вы пишете, что добро и разум — это одно, или от одного? А зло — не от злой природы, не от природы такие люди, а только от незнания? Но, Лев Николаич, — духа лишился Саня от своей дерзости, но и своими же глазами он кое-что повидал, — никак! Вот уж никак! Зло — и не хочет истины знать. И клыками её рвёт! Большинство злых людей как раз лучше всех и понимают. А — делают. И — что же с ними?..

Даже пальцами губы свои прикрыл, чтобы больше не говорить, чтоб самому-то услышать!

Вздыхнул старик глубоко:

— Значит — плохо, недоступно, неумело объясняют. Терпеливо надо объяснять. И — поймут. Все рождены — с разумом.

И, расстроенный, пошagal с палочкой.

А Саня — стоял. И когда Толстой с дорожки за дом ушёл. И ещё потом стоял.

Так он надеялся в три минуты от Самого узнать и понять! Не понял.

Уж он не решился, не успел проверить у своего кумира о стихах: всё-таки — можно? хоть для себя, потихоньку? Или — решительно

Солженицын А.

С 60 Август Четырнадцатого. Красное Колесо : роман-эпопея. Узел I / Александр Солженицын. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2024. — 880 с. — (Русская литература. Большие книги).

ISBN 978-5-389-25416-9

Александр Исаевич Солженицын — русский писатель, публицист, общественный деятель, лауреат Нобелевской премии по литературе («За нравственную силу, с которой он продолжил традиции великой русской литературы», 1970), лауреат Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности (2006), академик Российской академии наук.

Роман «Август Четырнадцатого» был опубликован в 1971 году в Париже, став первой книгой («Узлом», по определению автора) в эпопее «Красное Колесо», масштабном историко-художественном полотне, посвящённом событиям в России 1914–1917 годов. Действие романа происходит в начале Первой мировой войны. Многочисленные сюжетные линии, обилие персонажей (многие из которых — известные исторические персоны), яркие, драматические события, историческая достоверность позволяют назвать роман одним из самых значительных исторических произведений XX века.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН
АВГУСТ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО
КРАСНОЕ КОЛЕСО

Роман-эпопея

УЗЕЛ I

Ответственный редактор Кирилл Красник
Редактор Наталия Солженицына
Художественный редактор Валерий Гореликов
Технический редактор Мария Антипова
Компьютерная вёрстка Ирины Варламовой
Корректоры Елена Терскова, Ольга Попова, Юлия Теплова

Подписано в печать / Баспаға қол қойылды 17.05.2024.
Формат издания 60 × 88 ¹/₁₆. Печать офсетная. Тираж 4000 экз.
Усл. печ. л. 53,9. Заказ №

Изготовитель: ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» — обладатель товарного знака АЗБУКА®, 115093, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, пер. Партийный, д. 1, к. 25 Тел. (495) 933-76-01, факс (495) 933-76-19 E-mail: sales@atticus-group.ru	Өндіруші: «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» ЖШҚ — АЗБУКА® тауар белгісінің иесі, 115093, Мәскеу, қ. ш. аум. Даниловский муниципалдық округі, Партийный т.ш., 1-үй, к. 25 Тел. (495) 933-76-01, факс (495) 933-76-19 E-mail: sales@atticus-group.ru
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» в г. Санкт-Петербурге, 191024, Санкт-Петербург, Херсонская ул., д. 12–14, лит. А Тел. (812) 327-04-55 E-mail: trade@azbooka.spb.ru www.azbooka.ru; www.atticus-group.ru Отпечатано в России.	Санкт-Петербург қ. «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» ЖШҚ филиалы, 191024, Санкт-Петербург, Херсон көшесі, 12–14 үй, лит. А Тел. (812) 327-04-55 E-mail: trade@azbooka.spb.ru www.azbooka.ru; www.atticus-group.ru Ресейде басып шығарылған.

Техникалық реттеу туралы РФ заңнамасына сай басылымның сәйкестігін растау туралы мәліметтерді мына адрес бойынша алуға болады: <http://atticus-group.ru/certification/>.

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)
Ақпараттық өнім белгісі
(29.12.2010 ж. № 436-ФЗ федералдық заң)

16+

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru



A-ARL-34406-01-R